

**ФРАНЦ
КАФКА**

ДНЕВНИКИ

Франц Кафка

ДНЕВНИКИ

«Public Domain»

1910-1923

УДК 821.112.2(436)
ББК 84(4Авс)-44

Кафка Ф.

Дневники / Ф. Кафка — «Public Domain», 1910-1923

ISBN 978-5-699-93080-7

Литературные наброски, сны и театральные впечатления, перемежаемые рассуждениями о собственной несостоятельности, упреками, страхами, терзаниями. Вечный экзистенциальный кризис и абсолютное одиночество, выплеснутое на бумагу, — эта неудавшаяся сублимация, эти записи, не приносившие облегчения, стали, бесспорно, самым значительным текстом Франца Кафки.

УДК 821.112.2(436)

ББК 84(4Авс)-44

ISBN 978-5-699-93080-7

© Кафка Ф., 1910-1923
© Public Domain, 1910-1923

Франц Кафка

Дневники

1910

Зрители цепенеют, когда мимо проезжает поезд.

«Если он задаёт мне вопросы». Это «ё», отделенное от фразы, улетает, как мяч на лугу.

Его серьезность меня убивает. Голова зажата в воротничке, волосы недвижно уложены на черепе, мускулы внизу щек затвердели на своем месте.

Лес все еще здесь? Лес все еще был почти что здесь. Но едва мой взгляд устремился дальше шагов на десять, я упустил его из виду, снова втянутый в скучный разговор.

В темном лесу, на размякшей почве я мог ориентироваться лишь благодаря белизне его воротничка.

Во сне я просил танцовщицу Эдуардову, чтобы она еще раз станцевала чардаш. На ее лице между нижним краем лба и серединой подбородка – широкая полоса тени или света. Как раз в этот момент пришел кто-то с отвратительными ужимками бессознательного интригана, чтобы сказать ей, что поезд сейчас отправляется. По выражению, с каким она слушала это сообщение, я с ужасом понял, что она не будет больше танцевать. «Я злая, скверная баба, не правда ли?» – сказала она. «О нет, – сказал я, – вовсе нет», – и повернулся наугад к выходу.

* * *

Перед этим я расспрашивал ее о цветах, торчавших за ее поясом. «Они от всех государей Европы», – сказала она. Я раздумывал, какой смысл заключен в том, что эти свежие цветы, торчащие за поясом, были подарены танцовщице Эдуардовой всеми государями Европы.

Танцовщица Эдуардова, любительница музыки, всюду, в том числе и в трамвае, ездит в сопровождении двух скрипачей, которых она часто просит играть. Ведь запрета не существует, так почему бы в трамвае не играть, раз игра хороша, нравится пассажирам и ничего не стоит, то есть если после окончания не производят сбора денег. Правда, поначалу это немножко ошарашивает, и некоторое время каждый считает, что это неуместно. Но на полном ходу, при хорошем сквозняке и на тихой улице звучит приятно.

Танцовщица Эдуардова на открытом воздухе не так красива, как на сцене. Эта бледность, эти скулы, так натягивающие кожу, что на лице едва отражается какое-нибудь движение, выступающий, словно из углубления, большой нос, с которым не пошутишь – не попробуешь кончик на твердость или не ухватишь спинку носа и не повернешь туда-сюда, говоря: «А теперь ты пойдешь со мной». Широкая фигура с высокой талией в слишком складчатых юбках – кому это может понравиться? – она похожа на одну из моих теток, пожилую даму, многие пожилые тетки многих людей выглядят похоже. На открытом воздухе эти изъяны не компенсируются у Эдуардовой, собственно говоря, ничем, кроме весьма недурных ног, в ней действительно нет ничего, что давало бы повод к восторгам, удивлению или хотя бы просто вниманию. И потому я

очень часто видел, как даже обычно очень обходительные, очень корректные господа при всем старании не могли скрыть своего равнодушия по отношению к Эдуардовой, такой известной танцовщице, каковой она все-таки являлась.

Моя ушная раковина на ощупь свежа, шершава, прохладна, сочна – как лист.

Я совершенно определенно пишу это из-за отчаяния по поводу моего тела, по поводу будущего этого тела.

* * *

Но если отчаяние выступает так определенно, если оно так неотрывно от своего объекта, так удерживается, словно солдат, прикрывающий отступление и разрываемый за это в клочья, тогда это не отчаяние. Подлинное отчаяние сразу достигает своей цели и всегда обгоняет ее, (при этой запятой выявляется, что только первая фраза верна)

Ты в отчаянии?

Да? В отчаянии?

Убегаешь? Хочешь спрятаться?

Я прохожу мимо борделя, как мимо дома возлюбленной.

Писатели мелют вонючий вздор.

Белошвейки в потоках дождя.

Из окна купе

Наконец-то после пяти месяцев жизни, в течение которых я не смог написать ничего такого, чем был бы доволен, и которые никто и ничто не в силах мне возместить, хотя все обязаны бы это сделать, я надумал снова поговорить с самим собой. На это я еще способен, если действительно задаюсь такой целью, здесь еще можно что-то выбить из той копны соломы, в которую я превратился за эти пять месяцев и судьба которой, кажется, в том, чтобы летом ее подожгли и она сгорела быстрее, чем зритель успеет моргнуть глазом. Пускай бы это случилось со мной! И пусть хоть десять раз случится – я ведь не сожалею о времени, даже злополучном. Мое состояние – не состояние «несчастья», но это и не счастье, не равнодушие, не слабость, не усталость, не интерес к чему-то – тогда что же оно такое? То обстоятельство, что я не знаю этого, связано, вероятно, с моей неспособностью писать. А ее я, кажется, ощущаю, не зная причины. Все вещи, возникающие у меня в голове, растут не из корней своих, а откуда-то с середины. Попробуй-ка удержать их, попробуй-ка держать траву и самому держаться за нее, если она начинает расти лишь с середины стебля. Пожалуй, кое-кто это умеет, например, японские акробаты, взбирающиеся по лестнице, которая стоит не на земле, а на поднятых вверх ступнях полулежачего человека и не прислонена к стене, а вздымается вверх прямо в воздух. Я этого не умею, не говоря уж о том, что под моей лестницей нет даже тех ступней. Конечно, это еще не все, и такая задача еще не заставит меня заговорить. Но каждый день на меня должна быть направлена по меньшей мере одна строка, как направляют теперь подзорные трубы на кометы. И еще – я должен оказаться перед настоящей фразой, захваченный этой фразой, как то случилось со мною, например, в последнее Рождество, когда дело дошло до того, что я едва мог

владеть собой, и когда, казалось, я действительно был на последней ступеньке своей лестницы, которая, правда, спокойно стояла на земле у стены. Но что за земля, что за стена! И все же та лестница не упала – так прижимали ее к стене мои ноги, так держали ее мои ноги на земле.

Сегодня, например, я совершил три дерзости – по отношению к кондуктору, по отношению к одному из моих начальников: так, их только две, но они мучают меня, словно боль в желудке. Они были бы дерзостью со стороны любого человека, тем более с моей. Итак, я вышел из себя, сражался в воздухе, в тумане, и вот что самое скверное: никто не заметил, что я и по отношению к моим спутникам совершил дерзость, сделал, должен был сделать именно как дерзость настоящую гримасу, за которую необходимо нести ответственность; но самое скверное, что один из моих знакомых воспринял мою дерзость не как черту характера, а как самый характер, обратил мое внимание на эту дерзость и восхитился ею. Почему я вышел из себя? Теперь я, правда, говорю себе: смотри, мир позволяет тебе бить его, кондуктор и начальник остались спокойными, когда ты выходил, начальник даже поклонился. Однако это ничего не значит. Ты не можешь ничего достичь, выходя из себя. Но что еще ты потеряешь, оставаясь в очерченном тобой круге? На это я отвечаю следующее: я лучше позволю избивать себя в этом круге, чем самому избивать кого-то вне его. Но где, черт возьми, этот круг? Некоторое время я видел его на полу словно мелом нарисованным, теперь же он лишь витает вокруг меня, да и не витает даже.

Ночь кометы, 17/18 мая. Был вместе с Бляйем, его женой и ребенком, временами слышал себя снаружи, как поскуливание котенка, вскользь, но тем не менее.

Сколько дней опять прошли безмолвно; сегодня 29 МАЯ. Разве нет у меня хотя бы решимости брать каждый день в руки эту ручку, этот кусочек дерева? Да, я думаю, у меня ее нет. Я гребу, езу верхом, плаваю, загораю. Поэтому икры хороши, бедра неплохи, живот куда ни шло, а вот грудь очень убога, и если голова в затылке у меня.

19 ИЮНЯ. Воскресенье. Спал, проснулся, спал, проснулся, жалкая жизнь.

Если подумаю, то должен сказать, что мое воспитание во многом мне очень повредило. Я ведь воспитывался не где-то на обочине, не в каких-нибудь руинах в горах, против этого я не мог бы сказать ни слова упрека.

Опасаясь, что весь ряд моих прошлых учителей не сможет этого понять, но охотнее всего и с удовольствием я был бы маленьким обитателем руин, обожженным солнцем, которое со всех сторон светило бы между развалинами на безучастный плющ, пусть вначале я был бы слаб под грузом моих добрых качеств, которые буйно, как мощные сорняки, разрослись бы во мне.

Если подумаю, то должен сказать, что мое воспитание во многом мне очень повредило. Этот упрек касается многих людей, а именно – моих родителей, кое-кого из родственников, отдельных посетителей нашего дома, различных писателей, совершенно определенной кухарки, которая целый год водила меня в школу, кучи учителей (которых я должен в воспоминаниях тесно сгрудить, иначе то один, то другой отвалится, но, поскольку я их так сгрудил, целое опять-таки местами крошится), некоего школьного инспектора, медленно движущихся пешеходов, короче говоря, этот упрек всажен, как кинжал, во все общество, и никто – повторяю: к сожалению, – никто не уверен, что острие кинжала не вылезет вдруг спереди, или сзади, или сбоку. И никаких возражений на этот упрек я не желаю слушать, ибо слишком много я их уже слышал, и так как в большинстве возражений я был опять-таки опровергнут, то и эти возражения я включаю в свой упрек и ныне заявляю, что мое воспитание и это опровержение во многом мне очень повредили.

Я часто думаю об этом и каждый раз прихожу к выводу, что мое воспитание мне во многом очень повредило. Этот упрек относится ко множеству людей, правда, они стоят здесь рядом и, как на старых групповых портретах, не знают, что им делать: опустить глаза им не приходит в голову, а улыбнуться они от напряженного ожидания не решаются. Здесь мои родители, кое-кто из родственников, из учителей, кухарка, которую я запомнил, некоторые девушки из школы танцев, некоторые посетители нашего дома прежних времен, некоторые писатели, преподаватель плавания, билетер, школьный инспектор, затем люди, которых я лишь однажды встречал на улице, и какие-то еще, которых я сейчас не могу припомнить, и такие, которых никогда больше не вспомню, и, наконец, такие, на уроки которых я, чем-то отвлекшись тогда, вообще не обратил внимания, – короче, их так много, что надо следить, как бы не упомянуть дважды одного и того же. И к ним всем я обращаю свой упрек, знакомлю их тем самым друг с другом и никаких возражений не приемлю. Ибо воистину я уже слышал их предостаточно, и, так как большинство этих возражений я не сумел оспорить, мне ничего другого не остается, как включить их в счет и сказать, что, как и мое воспитание, эти возражения тоже во многом очень повредили мне.

Может быть, подумают, будто я воспитывался где-то в глуши? Нет, я воспитывался в городе, в самом центре города. Не в руинах, к примеру, не в горах и не на берегу озера. Мои родители и их присные до сих пор были хмуры и серы из-за моего упрека, но вот они легко отстранили его и улыбаются, потому что я снял с них мои руки и приложил их ко лбу и думаю: мне бы быть маленьким обитателем руин, вслушивающимся в гомон галок, осененным их тенью, освежающимся под холодной луной, – пусть вначале я и был бы чуть слаб под грузом добрых качеств, которые должны были бы буйно, как сорная трава, разрастись во мне, обожженном солнцем, сквозь развалины пробивающимся со всех сторон и светящим на мое свитое из плюща ложе.

Я часто думаю об этом и предоставляю мыслям идти своим путем, не вмешиваясь, но как бы я их ни поворачивал, прихожу к выводу, что мое воспитание во многом мне страшно повредило. В этом признании заключен упрек по отношению к целому ряду людей. Здесь родители с родственниками, совершенно определенная кухарка, учителя, некоторые писатели, дружественные семьи, некий учитель плавания, уроженцы курортных мест, некоторые дамы в городском парке, по виду которых этого не скажешь, некий парикмахер, некая нищенка, некий штурман, домашний врач и еще многие другие, и их было бы еще больше, если бы я захотел и смог назвать их по имени, – короче, их так много, что надо следить, как бы не назвать в этой толпе кого-нибудь дважды. Может показаться, что уже из-за самого этого множества упрек теряет в твердости, да он и должен ее, собственно, терять, ибо упрек – не военачальник, он шагает лишь напрямик и не умеет дробиться. Даже в этом случае, раз он направлен против ушедших людей. Эти люди желали бы со всей забытой энергией остаться в памяти, но почву под ногами они вряд ли сохранят, сами ноги их – уже дым улетучившийся. И можно ли людей вот в таком состоянии сколько-нибудь успешно упрекать теперь за ошибки, совершенные ими когда-то, в прежние времена, при воспитании какого-то юноши, который сейчас для них столь же непостижим, как и они для нас. Их ведь даже не заставишь вспомнить те времена, они ни о чем не могут вспомнить, а если насесть на них, они молча отеснят тебя в сторону, никто не в силах их принудить, но о принуждении, очевидно, и говорить нечего, ибо, скорее всего, они и не слышат слов. Они стоят, как усталые собаки, ибо всю свою силу они потратили на то, чтобы остаться в памяти. Но если бы действительно удалось заставить их слушать и говорить, тогда в ушах звенело бы от их контрупреков, ибо люди ведь берут с собой в потусторонний мир убежденность в безупречности мертвых и защищают ее оттуда с удесятеренной силой. И если это мнение, возможно, было бы неправильным и мертвые имели бы особенно большое уваже-

ние к живым, тогда они тем более заступились бы за свое живое прошлое, которое им ближе всего, и снова у нас звенело бы в ушах. А если и это мнение было бы неправильным и мертвые были бы как раз очень объективны, то и тогда они ни за что не могли бы согласиться, чтобы их тревожили недоказуемыми упреками. Подобные упреки человека человеку недоказуемы. Нельзя доказать ни наличия прошлых ошибок в воспитании, ни их авторства. Вот и предъявит тут упрек, который в такой ситуации не обратился бы во вздох.

Таков и упрек, который я имею предъявить. У него здоровое нутро, теория его поддерживает. То, что действительно во мне испорчено, я пока забуду или прощу и не стану поднимать шума. Зато я могу в любой момент доказать, что мое воспитание было направлено на то, чтобы сделать из меня другого человека, а не того, каким я стал. Так что вред, который мне могли бы причинить мои воспитатели своими намерениями, этот вред я ставлю им в упрек, я требую из их рук человека, каким я сейчас являюсь, и, поскольку дать мне его они не могут, я подниму из упрека и смеха такой барабанный шум, что он достигнет потустороннего мира. Однако все это лишь служит для другой цели. Упрек по поводу того, что они все же испортили часть меня, добрую часть меня они испортили – во сне она порой мне является, как иным является мертвая невеста, – этот упрек, который всегда готов вот-вот превратиться во вздох, именно он пусть невредимым перейдет по ту сторону как честный упрек, каков он и есть. На самом деле так и получается, что большой упрек, с которым ничего не может случиться, берет маленький за руку, – большой идет, маленький припрыгивает, но, как только маленький попадет на ту сторону, он сразу же дает о себе знать, как мы всегда этого и ожидали, он трубит в трубу, будто по барабану барабанит.

* * *

Часто я думаю об этом и предоставляю мыслям идти своим путем, не вмешиваясь, но всегда прихожу к выводу, что мое воспитание испортило меня больше, чем я могу это понять. По внешнему виду я человек как человек, ибо мое телесное воспитание придерживается обычного так же, как обычным было мое тело, и если я маловат и толстоват, то все же нравлюсь многим, в том числе и девушкам. Тут сказать нечего. Еще недавно одна из них сказала нечто очень разумное. «Ах, увидеть бы мне вас голым, то-то вы должны быть красивы и вызывать желание поцеловать», – сказала она. Но если бы у меня не хватало тут верхней губы, там ушной раковины, здесь ребра, там пальца, если бы были на голове безволосые пятна, а на лице оспины, это бы еще не было достаточным подобием моего внутреннего несовершенства. Это несовершенство не врожденное, и потому оно тем более болезненно. Ибо, как и всякий человек, я от рождения тоже имею свой центр тяжести, который даже дурацкое воспитание не в силах сместить. Но к этому хорошему центру тяжести у меня в известной мере нет больше соответствующего тела. А центр тяжести, которому нечего делать, становится свинцом и торчит в теле, как ружейная пуля. Но несовершенство это тоже не заслужено, оно возникло без моей вины. Потому я и не нахожу в себе ни капли раскаяния, сколько бы ни искал. Ибо раскаяние пошло бы мне на пользу, оно само в себе выплакивается; оно отодвигает боль в сторону и всякое дело завершает само, как поединок; мы остаемся на своих ногах благодаря тому, что оно нас облегчает.

Мое несовершенство, как я сказал, не врожденное, не заслуженное, и тем не менее я переношу его лучше, чем с большим напряжением фантазии и отборными вспомогательными средствами другие переносят куда меньшие несчастья, например, отвратительную жену, бедность, жалкие профессии, и при этом мое лицо отнюдь не черно от отчаяния, оно белое и красное.

Я не был бы таким, если бы мое воспитание проникло в меня так глубоко, как оно того хотело. Возможно, моя юность была для этого слишком коротка, в таком случае я еще и сей-

час, в мои сороковые годы, всем сердцем славлю эту краткость. Только это и дало мне возможность сохранить силы, чтобы осознать потери своей юности, далее, чтобы перенести эти потери, далее, чтобы направить во все стороны упреки и, наконец, оставить часть сил для самого себя. Но все эти силы опять-таки остаточная часть тех сил, какими я владел в детстве и которые отдали меня больше, чем других, во власть губителям юности, ибо доброму гоночному автомобилю достается больше пыли и ветра, и навстречу его колесам препятствия летят с такой стремительностью, что можно почти поверить, будто это любовь.

Отчетливее всего моя нынешняя сущность раскрывается в той силе, с какой упреки рвутся из меня. Бывали времена, когда во мне не было ничего, кроме подстегиваемых гневом упреков, так что при вполне благополучном физическом состоянии я вынужден был на улице держаться за чужих людей, ибо упреки во мне кидались из стороны в сторону, как вода в тазу, который слишком быстро несут.

Эти времена прошли. Упреки лежат во мне разбросанно, как чужие инструменты, взять и поднять которые у меня едва хватает мужества. При этом погибельность моего старого воспитания начинает все больше и больше заново влиять на меня, страсть к воспоминаниям – возможно, это общее свойство холостяков моего возраста – снова раскрывает мое сердце для тех людей, которых мои упреки должны побивать, и происшествие, подобное вчерашнему, прежде случавшееся столь же часто, как еда, теперь бывает так редко, что я это записываю.

Но, сверх того, я сам, тот, кто сейчас откладывает перо, чтобы открыть окно, возможно, я и есть наилучшее вспомогательное средство моих нападающих. Я недооцениваю себя, а это уже означает переоценку других, но я переоцениваю их, и, помимо того и несмотря на это, я причиняю себе вред еще и напрямик. Когда меня захлестывает страсть к упрекам, я смотрю из окна. Никто не станет отрицать, что там сидят в своих лодках рыболовы, как школьники, которых вывели из школы к реке; ладно, их неподвижность зачастую непонятна, как неподвижность мух на оконном стекле. И по мосту идут, разумеется, трамваи, как всегда, с огрубленным шумом ветра и звонят, как испорченные часы, нет сомнения, что полицейский, черный снизу доверху, с желто светящейся медалью на груди, ни о чем другом не напоминает, кроме как об аде, и теперь, думая примерно то же, что и я, наблюдает за рыболовом, который внезапно – то ли он плачет, то ли у него видение, или дергается поплавок – наклоняется к борту лодки. Все это правильно, но для своего времени, теперь же правильны только упреки.

Они направлены против множества людей, это может прямо-таки испугать, и не только я, но и всякий другой лучше уж станет глядеть из открытого окна на реку. Здесь родители и родственники, и то, что они вредили мне из любви ко мне, лишь увеличивает их вину, ведь как сильно они могли бы из любви ко мне помочь, затем дружественные семьи со злым взглядом, от сознания вины они тяжелеют и не хотят подняться в воспоминания, затем куча нянь, учитель и писатель и среди них одна совершенно определенная кухарка, затем в наказание переходящие друг в друга домашний врач, парикмахер, штурман, нищенка, продавец бумаги, парковый сторож, учитель плавания, затем чужие дамы из городского сада, по виду которых этого никак нельзя было бы сказать, уроженцы дачных мест как насмешка над неповинной природой и многие другие; их было бы еще больше, если бы я захотел и смог назвать их по имени, – короче, их так много, что надо следить, как бы не назвать кого-нибудь дважды.

Я думаю часто и предоставляю мыслям идти своим ходом, не вмешиваясь, но всегда прихожу к одному и тому же выводу, что воспитание испортило меня больше, чем все люди, которых я знаю, и больше, чем я сам постигаю. Но говорить об этом я могу лишь время от времени, ибо если меня спрашивают: «В самом деле? Возможно ли это? Трудно поверить!» – я сразу же из нервного страха пытаюсь это преуменьшить.

Внешне я выгляжу, как другие; у меня есть ноги, туловище и голова, брюки, пиджак, шляпа; меня заставляли как следует заниматься гимнастикой, и если я, несмотря на это, мало-

ват ростом и слаб, то, значит, это было неизбежно. В остальном же я многим нравлюсь, даже молодым девушкам, а те, кому я не нравлюсь, находят меня все же сносным.

Рассказывают, и мы склонны этому верить, что мужчины в опасности нисколько не считаются даже с красивыми чужими женщинами; если эти женщины мешают им бежать из горящего театра, они отшвыривают их к стене, бодают головой, толкают руками, коленями, локтями. И тогда наши болтливые женщины молчат, их бесконечные речи обрываются точкой на глаголе, брови утрачивают покой, бедра и ляжки теряют дыхательный ритм движения, в полуоткрытый от страха рот втекает больше воздуха, чем обычно, и щеки кажутся немного вздутыми.

* * *

Санд: французы все – комедианты; но лишь самые слабые из них играют комедию.

Клакеры во французских театрах: повелители сидят в партере. Гагакают для ближних, роняют газеты для галерочников.

Колотушка извещает о начале

6 НОЯБРЯ. Вечер некой мадам Шеню, посвященный Мюссе. Привычка евреек чмокать, понимание французского посредством всяких подходов и сложностей анекдота, пока перед самым заключительным словом, покоящимся на руинах этого анекдота, французский на наших глазах не потухает, – может быть, мы слишком сильно все время напрягались, люди же, понимающие французский, уходят, не дожидаясь конца, потому что они уже достаточно услышали, другие услышали еще далеко не достаточно, акустика зала, более благосклонная к кашляню в ложах, чем к слову выступающего; ужин у Рашели, она читает Расина: «Федра» с Мюссе, книга лежит между ними на столе, на котором, кстати, лежит всякая всячина. Консул Клодель, блеск его глаз заливают широкое лицо и с лица отсвечивает, он все время хочет попрощаться, по отдельности ему это удается, но в целом нет, ибо когда он прощается с одним, рядом уже стоит другой, а к нему опять присоединяется тот, с кем прощались. Над подмостками для доклада – галерея для оркестра. Мешают всякие шумы. Кельнеры из вестибюля, гости в комнатах, рояль, отдаленный струнный оркестр, громкие стуки, наконец, ссора, локализация которой доставляет большие трудности и потому привлекает внимание. В одной ложе дама с бриллиантами в серьгах, их блеск почти непрерывно меняется. У кассы молодые, одетые в черное люди из какого-то французского кружка. Один из них приветствует с таким низким поклоном, что глаза его скользят по полу. При этом он широко улыбается. Но так он делает только перед девушками, мужчинам он сразу затем открыто смотрит в лицо со строго сомкнутым ртом, тем самым одновременно обозначая предыдущее приветствие как смешноватую, но обязательную церемонию.

7 НОЯБРЯ. Доклад Биглера о Геббеле. Сидит на сцене с декорациями современной комнаты, словно из какой-нибудь двери выскочит его возлюбленная, чтобы начать наконец пьесу. Нет, он делает доклад. Голодание Геббеля. Сложное отношение к Элизе Ленсинг. В школе у него учительницей старая дева, она курит, сморкается, бьет, а послушных одаривает изюмом. Он всюду ездит (Гейдельберг, Мюнхен, Париж) без определенной цели. Сперва он служка у церковного зрителя, спит под лестницей в одной кровати с кучером.

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд по рисунку Ф. Оливье, он рисует на склоне; как красив и серьезен он здесь (высокая шляпа, как сплюснутый клоунский колпак, с тугими, надвину-

тыми на лоб узкими полями, волнистые, длинные волосы, глаза направлены лишь на картину, спокойные руки, доска на коленях, одна нога чуть глубже скользнула на откос).

Но нет, это Оливье, нарисованный Шнорром.

15 НОЯБРЯ, 10 ЧАСОВ. Я не позволю себя утомить. Я впрыгну в свою новеллу, даже если это искромсает мне лицо.

16 НОЯБРЯ, 12 ЧАСОВ. Читаю Гете «Ифигению в Тавриде». За исключением отдельных явно неудачных мест, там вызывает настоящее восхищение высушенный немецкий язык в устах чистого мальчика. Каждое слово стиха в момент чтения поднимается читающим ввысь, где оно и стоит в скудном, может быть, но пронизывающем свете.

27 НОЯБРЯ. Бернхард Келлерман читал вслух. «Кое-что неопубликованное из моих сочинений» – так он начал. По-видимому, милый человек; почти седые, торчком стоящие волосы, старательно, чисто выбрит, острый нос, желваки перекатываются, как волны, на скулах. Писатель он посредственный, хотя есть хорошо написанные куски (какой-то мужчина выходит в коридор, кашляет и оглядывается, нет ли здесь кого-нибудь); честный человек, он хочет прочитать то, что пообещал, но публика не дает, испугавшись первого рассказа о психиатрической лечебнице: из-за скуки, навеваемой манерой чтения, слушатели, несмотря на известную занимательность рассказа, все время поодиночке выходят с такой ретивостью, будто по соседству читают что-то другое. Когда он, прочитав треть рассказа, остановился, чтобы выпить минеральной воды, ушло уже много народа. Он испугался. «Скоро конец», – просто соврал он. Когда он закончил, все встали, раздались аплодисменты, прозвучавшие так, словно все поднялись, а один остался сидеть и аплодировал для собственного удовольствия. Келлерман хотел читать дальше – еще один рассказ или даже несколько. Увидев, что все уходит, он только рот раскрыл. Наконец, по чьему-то совету, он сказал: «Я хотел бы еще прочитать небольшую сказку, это займет всего пятнадцать минут. Сделаем пятиминутный перерыв». Кое-кто остался, и он прочитал сказку, вполне дававшую слушателям право бежать через зал чуть ли не по головам соседей к выходу.

Рудле 1 к,	ДОЛГ
Каре 10 г,	

15 ДЕКАБРЯ. Своим выводам из моего нынешнего, уже почти год длящегося состояния я просто не верю – для этого мое состояние слишком серьезно. Я даже не знаю, могу ли сказать, что это состояние не новое. Во всяком случае, я думаю: состояние это ново, подобные у меня бывали, но такое – еще никогда. Я словно из камня, я словно надгробный памятник себе, нет даже щелки для сомнения или веры, для любви или отвращения, для отваги или страха перед чем-то определенным или вообще, – живет лишь шаткая надежда, бесплодная, как надписи на надгробиях. Почти ни одно слово, что я пишу, не сочетается с другим, я слышу, как согласные с металлическим лязгом трутся друг о друга, а гласные подпевают им, как негры на подмостках. Сомнения кольцом окружают каждое слово, я вижу их раньше, чем само слово, – да что я говорю! – я вообще не вижу слова, я выдумываю его. Но это еще было бы не самым большим несчастьем, если бы я мог выдумывать слова, которые развеяли бы трупный запах, чтобы он не ударял снизу в нос мне и читателю.

Когда я сажусь за письменный стол, то чувствую себя не лучше человека, падающего и ломающего себе обе ноги в потоке транспорта на Place de l'Opera. Все экипажи тихо, несмотря на производимый ими шум, устремляются со всех сторон во все стороны, но порядок, лучший,

чем его мог бы навести полицейский, устанавливает боль этого человека, которая закрывает ему глаза и опустошает площадь и улицы, не поворачивая машин обратно. Полнота жизни причиняет ему боль, ибо он ведь тормозит движение, но и пустота не менее мучительна, ибо она отдает его во власть боли.

16 ДЕКАБРЯ. Я больше не брошу дневника. Я должен сохранить себя здесь, ибо только здесь это и удастся мне.

Мне так хочется объяснить чувство счастья, которое время от времени, вот как раз сейчас, возникает во мне. Это нечто игристое, целиком наполняющее меня легкой приятной дрожью и внушающее мне способности, в отсутствии которых я с полной уверенностью могу убедиться в любой момент, хоть и сейчас.

Геббель хвалит «Дорожную тень» Юстинуса Кернера. «И такое произведение едва существует, никто его не знает».

«Дорога одиночества» В. Фреда. Как пишутся такие книги? Человек, достигший чего-либо путного в малом, так натужно растягивает свой талант на большой роман, что становится тошно, даже если ты восхищаешься энергией, с какой человек насилует собственный талант.

Зачем это третирование второстепенных персонажей, о которых я читаю в романах, пьесах и т. д. Какое чувство близости я испытываю к ним! В «Бишофсбергских девах» (так это называется?) говорится о двух швеях, готовящих белье для невесты. Какова жизнь этих двух девушек? Где они живут? Что они натворили такого, что их не пускают в пьесу? Им лишь дозволено, буквально утопая в потоках ливня, снаружи прижать в последний раз лицо к окошку каюты Ноева ковчега, для того чтобы зрители в партере увидели на мгновение нечто смутное.

17 декабря. На настойчивый вопрос – неужели ничто не покоится? – Зенон ответил: «Да, летящая стрела покоится».

Если бы французы по характеру своему были немцами, как бы тогда восхищались ими немцы!

* * *

То, что я так много отложил и повычеркивал – а это я сделал почти со всем, что вообще написал в этом году, – тоже очень мешает мне при писании. Ведь это целая гора, в пять раз больше того, что я вообще когда-либо написал, и уже одной массой своей она прямо из-под пера притягивает к себе все, что я пишу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.